

поездство“ (стр. 351), „не да ему полку“ (стр. 360), „являя им твердь братья“ (стр. 365), „приеха оправливаются“ (стр. 366), „перемета мост“ (стр. 367), „Глеб бродиться“ (стр. 375), „даяти сайгат“ (стр. 387), „нача Андрей вины покладывати на Ростиславичи“ (стр. 388), „поводяче и на Ростиславиче“ (стр. 389), „въз-острися на рать“ (стр. 390), „въвертешася в не“ (стр. 427), „створи постриги сынови своему“ (стр. 453), „водив и к роте“ (стр. 453), „засекся от Всеволода“ (стр. 468), „сына своего... посла брату своему Рюрикови на руде“ (стр. 472) и т. п.

Некоторые из этих слов и словосочетаний образны, но образность эта не литературного происхождения: она идет непосредственно от речевой практики XII в., от живого языка, обычного в княжеско-дружинной среде и хорошо известного летописцу.

То новое, что характеризует летописный рассказ в сравнении с погодной записью, не опровергает „документальной“ природы его. Имею в виду „автора“, которого в погодной записи еще не заметно, который там еще никак себя не проявляет. Здесь, в рассказе, — и в этом его литературное своеобразие — он уже отчетливо ощущается, он заявляет о себе оценками тех или иных событий, попытками комментировать их, прямой характеристикой действующих лиц повествования, отступлениями в сторону (морально-дидактические сентенции), даже отбором слов, в особенности же своей индивидуальной манерой излагать рассказ. Последнее закономерно; — погодная запись не давала простора в этом отношении уже в силу своего объема, здесь же возможности, разумеется, были иные. Индивидуальная манера излагать рассказ здесь не могла не сказаться так же, как сказывается она в любом устном рассказе очевидца: один рассказывает лучше, другой — хуже, один делает это подробнее, другой — суше и короче. Манера эта определяется в зависимости от памяти рассказчика, от его внимательности, его осведомленности, наконец, просто от его умения рассказывать.

Практика привела к тому, что летописный рассказ с течением времени выработал свои „клише“, свои традиционные формулы. Некоторые из этих формул получили широкое распространение и по наследству переходили от автора к автору: „седе на столе деда своего и отца своего“, „въеха со славою и честью великою“, „с радостью великою“, „бишася крепко“, <sup>1</sup> „возвратишася восвоеси“, „поможе бог“, „бысть же весть“ и проч. Наблюдение за употреблением этих формул показывает, что часто они употреблялись просто по инерции. Так, например, летописец мог сказать, что взять Киев Мстиславу Андреевичу „поможе бог“ (стр. 372); даже рассказывая о въезде в Киев несимпатичного ему князя-узурпатора, силою захватившего власть и стол, — Всеволода Ольговича, мог заме-

<sup>1</sup> Характерная для „воинских“ повестей более позднего времени развернутая формула боя в летописи Киевской встретилаcь мне только один раз: „и бысть мятежь велик, и стоиана, и кличь рамяя, и глаسه незнамии; и ту бе видити лом копийный и звук оружийный, от множества праза не знати нч конника ни пешьць“ (стр. 391—392).